

СОКИ ЗЕМЛИ

И тогда я, сибирская вольница, обеими руками оттопырил расстегнутую почти до пупа рубаху и голосом загубившего не одну христианскую душу старого каторжника, который теперь готов был от умиления заплакать, а может, с ноткою потрясенного людской добротой бродяги проникновенно сказал:

— Сыпь, бабуля, сюда!

Но она не тронула чашу на весах, а жилватой сморщенной ручкою начала по одному перекладывать яблоки мне за пазуху, переложила и сухонкие пальчики тут же протянула к мешку, стала накладывать новую горку, опять с походом, да еще с каким!.. Неизвестно, что больше было: сам вес или этот ее походец.

— Ешьте, мой внучек, ешьте!

Говорила и кланялась.

А я стоял перед нею с душой нараспашку.

Милая бабушка, если б знала, что ты в нее тогда вложила!

Но в ту уже довольно далекую теперь пору яблоки твои были куда спелее того, что так медленно зреет в человеческом сердце...

Не поклонился тебе.

Только с насмешкой поглядел на твоих соседей по базарному ряду — и на отпетое армавирское жулье, на поднаторевших армян-перекупщиков и на тех, в ком высокая плетуха из драни либо лыковый пестерь выдавали бывшего русака-северянина или перебежчика-чалдона, переселенца совсем недавнего: только-только поднял свой сад, только-только начал торговать — за тем на жирные кубанские земли да под щедрое солнце и приехал!

Когда шел потом по базару дальше, у меня был видок школяра-недомерка после удачного набега на чужой сад — тугие яблоки не только оттягивали рубаху на животе и по бокам, но и лежали за спиною. Я выкатывал их оттуда по одному, и они хрупали на зубах так, что на меня оборачивались, это я помню, а думал я небось что-нибудь беззаботное: а чударесная бабка, и правда!.. Вот было бы законно, если бы она приехала на нашу Антоновскую площадку и стала там почти задаром раздавать свои яблоки. И я бы приводил на крошечный базарчик посреди поселка своих корешков, эту братву, которая съехалась к нам на стройку со всех сторон света, и от комсомольского штаба мы бы прямо вручили ей грамоту — придумали бы какую, — а наши местные

обдирали да приезжие спекули тоже при этом воротили бы морды...

Вернись к ней, парень! Поговори с ней еще чуток.

Нет!..

Разве мог я тогда предположить, что много лет спустя буду мучительно стараться припомнить и всякое словцо, и каждый жест?

Но останутся лишь общие черты того июльского дня.

Вот ранним утром с дальнего, набитого духотою поезда Новокузнецк—Кисловодск схожу я на сонный, но прибранный, уже с разводами от метлы, с пятнами после поливки, перрончик и в безлюдном и тихом привокзальном буфете кружкой сытого пива праздную встречу со своею богатой, всегда цветущей родиной... Вот иду по уютным улицам белого среди буйной зелени, среди ярких цветочных клумб городка, вот выстаиваю длинную очередь за билетом на старой междугородной станции, от которой пыльные, проклятые степными ветрами автобусы тряслись тогда в основном до окрестных хуторов да станиц... Вот какой-нибудь симпатичной сверстнице, больше для того, чтобы с нею позаигрывать, поручаю присмотреть за полупустым своим чемоданом да тощим рюкзачком, которые любому уважающему себя армавирскому вору не навязал бы и силою...

И вот иду по базару.

С таким ощущением ответственный секретарь любимой народом многотиражки «Металлургстрой» — органа парткома, построкома и управления только что переименованного треста Сталинскметаллургстрой, — член комитета ВЛКСМ ударной комсомольской стройки Запсибметзавода — первенца третьей металлургической базы на востоке страны — топал в тот июльский день между рядами, за которыми пожилые, в капроновых шляпах, граждане туго сложенными газетками — дабы и капля не унесена была безвозмездно — отгоняли от фруктов пчел...

И тут я увидел эту старушку, такую самоуверенной деловитости потерянную, и невольно спросил у нее, почем яблоки, и удивился: «А почему, это, бабка, так дешево?!»

Она печально и тихонько сказала: «Да мне, мой внучек, лишь бы скорей продать...» И в голосе у нее послышалось столько простоты и сердечности, что никак нельзя было не спросить: а что такое, мол?.. Что случилось?

Может, ее нечасто об этом спрашивали? Редко с нею тут заговаривали? Или настроение у нее в тот день было осо-

бенное?..

Она пригорюнилась, проговорила вдруг так, словно мы с ней уже кто знает сколько знакомы:

— Случилось, внучек, еще давно... Еще в девятнадцатом. Когда к нам белые пришли. До этого, перед германской, хозяин мой яблоньку посадил, а тут она в первый раз хорошо родить собралась, стояла в самом цвету. А у меня доченька была... Младшая. Но что правда, то правда: бойдивчина. Со старыми казаками заспорила, пошла им поперечь, вот и решили они ее проучить. К яблоньке к этой привязали и давай плетьюми... Пока, мол, от своего не откажешься, до тех пор терпи... А ты, по лицу видать, здешний, ты и сам знаешь, что такое норов казачий. Уж если уперлась, «бри-то», то уж хоть кол на голове теши, а «стрижено» сказать не заставишь... А заступиться и некому: отец ее так на германской и остался, только и того, когда соседи домой повертались, два «Георгия» привезли... А братья далеко, аж в Крыму где-то, один у белых, а другой у красных верхами друг за дружкой гоняются... Ну, и забили до смерти. Только с невестками да с внучатами так я на всю жизнь и осталась... А на яблоньку, ну, как порчу кто напустил — даже если и зацветет когда, то и опупочка не дождешься, еще до этого облетит вся. Как память доченькина стояла, росла да матерела. Бывало, гляну на нее — аж до неба стала высокая! А потом на меня, веришь, как затмение какое нашло: «Да что ж это она, думаю, всю жизнь без единого яблочка?» Решила ее спилить да порубать на дрова. Уж и соседских ребят пригласила, и за бутылкой в сельпо сбегала, и закуску на стол поставила... Слышу, а они пилкой: ширх-ширх!.. Тут я как закричу да из хаты как выскочу: «Ой, ребята, да простите меня, что я вас заставила, а меня, грешную, пусть Господь простит — ну как же я такое могла?! Да что ж я чуть не наделала?..» Угостила их и отправила, а сама слегла тут же, да так сильно переболела, еле живая осталась, и наши, и соседи все думали, это уже и все... А яблоня весною как зацвела!.. Верите, вся станица приходила смотреть, как она цветет. Да как пошла родить, как пошла! Одно в одно яблоки, да такие душистые да вкусные, да не то что червяка внутри, а даже сверху никогда и комашки никакой на них нету... Я уж их и сушить да посылками, и знакомым раздавать, а много ты раздашь, если — станица да почти у каждого своя хата да свой сад? Пропадут, думаю!.. Рази не грех? И первый раз в жизни давай собираться на базар... А как приехала да как посмотрела, какие тут цены, да как люди по яблочку выби-

рают, да как у городских-то детишек глазенки блестят да слюнки текут, пока он дождется, когда ему мамка яблочко в руки сунет... Чего я тогда только не попередумала! И про доченьку свою. И про сыновей. И про яблоню. И про себя, старую да уже больную... И про весь белый свет. Про всех-всех. Это ж я, думаю, не раскумекала тогда, что и с яблонькою-то нашею тоже какое горе приключилось... Недаром же, пока они доченьку стегали, на ветках все до единого цветки пообсыпались. Может, деревце от стона да от крика людского тогда оцепенело? Может, в тот день и обесплодела моя яблонька? И уж когда только пилкой ее ребята поранили, тут она и вздрогнула и в себя пришла, тут она и очнулась... А может, думаю, так? Только тогда она снова по весне и услышала, как от земли соки в нее ударили... И уж если, думаю, Господь возвратил ей материнство, то моя доля — яблоки собирать да отдавать добрым людям. Чтобы ни одно не пропало. Ни одно не погнило. Грех!.. С той поры и радуюсь всякую весну, и всякое лето потом маюсь. Другие яблони через год родят, а моя теперь — ну каждое лето — без роздыха!.. Мне и в гору некогда глянуть: и нарвать-насобирать, и на машину до города пристроить, и на базаре с утра до вечера отстоять... Оно и так бы людям тут сразу роздал. Да и спасибо, что взяли, не погнушались, да только человек, он ведь, внучек, такой, что ему чем ни дороже, тем вроде того что надежней, а если дешевле, а то и совсем задаром, значит, думает, что-то уже не так... И смотреть начинают, как будто я не в своем уме, а там и сторонкой старуху обходить. Вот и стою, продаю потихоньку. Чтоб не пугались да брали и у меня. Да еще чтоб дорогу до города оправдать, а то у меня другой раз, бывает, концы с концами не сходятся, такая торговка, а шоферам, им что, им бумажку отдай, а там, как ты хочешь... Тут, правда, в последнее время один наш шофер; мальчишонка совсем молоденький, когда увидел, что не спекулянтка, стал ко мне относиться... Да он и под двор теперь подьедет, и сам бежит за мешками, и на базаре все скинет, а когда не спешит, да еще и весы на прилавок принесет, такой добрый да уважительный, а денег никогда ни копейки... А что эти маклаки рядом станут, дак я к ним уже привыкла, когда кто не так глянет на меня, а то, бывает, и крикнет, отвернуся да «Отче наш» про себя пошепчу, оно ко мне и не пристанет — ни глаз дурной, ни грубое слово. Господь, он все видит. Спасибо ему, хранит... Так что не сомневайтесь, внучек, берите у бабушки, у меня они совсем дешево, только куда вы положите?

И тогда я достал из кошелька свой совсем не длинный, с комсомольской стройки, рублишко, положил на прилавок рядом с весами и обеими руками оттопырил рубаху на груди... А что касается голоса, то не свой он был, потому что ведь тогда, молокосос, и в самом деле считал себя уже всякое повидавшим бродягою, но тут вот вышла заминка — неожиданно навернувшиеся слезы вдруг щипнули у бродяги глаза.

Как поздно это все бывает потом, ну как поздно!..

Помню, как во времена своего беззаботного студенчества, когда был дома на летних каникулах, я повез в соседнюю станицу, к сестре, мою родную прабабушку, уже тогда очень старую, но еще и при светлой памяти, и достаточно бодрую... Перед крутым подъемом она вдруг громко, на весь автобус, потребовала остановить, водитель зачертыхался, но стал, и я выскочил за бабушкой следом, думал ей плохо, но она заспешила по обочине в гору, только за нею поспевай, а когда мы уже догнали поджидавшую нас на горе машину, сели на свои места и шофер, снова ругаясь, спросил, что такое случилось, она с укором ответила: «Вот интересные!.. Мы, когда на покос, бывало, ехали, всегда тут слазили с брички, чтоб легче лошадям... А если она теперь железная, что же ее — и жалеть не надо?»

Вокруг нас, что называется, грохнули, а хотевший, видимо, что-то сказать шофер только поперхнулся и всю остальную дорогу оборачивался и лишь ошалело смотрел на бабушку, а я сидел рядом с нею красный, как вареный рак, мне было стыдно, мне казалось, что моя девяностолетняя бабушка перед всеми нас оконфузила...

Потом, уже много лет спустя, я написал об этом рассказ, но все мне кажется, что до чего-то важного я в нем так и не докопался, что бабушка так и унесла с собой самую главную, может быть, человеческую тайну...

А так и не понятый до конца вздох отца посреди нашего с ним горячего спора? А неотвратимо ускользающая от меня улыбка матери, которая, хоть она, слава Бог у, и жива, после многих несчастий стала совсем другою, как стал теперь совсем другим и я, ее первенец?.. А тихий взгляд, а кроткое слово, а приподнятые, сложенные шепотью персты многих уходящих или уже насовсем ушедших от нас других, как в старину говорили, преждепочивших, кто делал, может быть, самую последнюю попытку наставить нас? Предостеречь? Охранить нас. Спасти?..

Меня тогда уже считали писателем, уже вышло с пя-

ток моих книжек... Однажды в декабре, когда отдыхали с женою на Кубани, мы с тестем поехали погостить к его старшей дочери, которая работала тогда колхозным зоотехником в станице Бриньковской. Был прекрасный солнечный день, теплый и сокровенно тихий. В линейке, запряженной двумя соловыми лошадками, мы медленно тащились на ферму — сначала рядом с облетевшей лесополосою через пустые поля, а после мимо нестарого, в самой поре фруктового сада... Но странный это был сад!

Еще издалека что-то в нем не только казалось непривычным, но даже как будто настораживало, и мы сперва лишь поглядывали и на чернеющие среди сквозивших макушек усохшие комки неснятых яблок, и на обломанные понизу ветки, а потом я остановил лошадей, к кованому завитку на передке линейки привязал вожжи, и мы свернули с дороги, пошли меж деревьев. Не знаю, как у кого, а у меня зрелище осеннего сада всегда рождает печаль. Правда, это печаль особого рода. Так и хочется написать: возвышенная...

И в самом деле, разве в ухоженном, до весны примолкшем саду вам не кажется, что все отдавшие людям деревья теперь не только благообразно-пусты, но и как бы полны достоинства?..

Здесь почти все многочисленные подпорки были не убраны, а просто сбиты и среди догнивающих, прикрытых коровьими лепехами раздавленных яблок валялись в загаженной перекаопыченной отаве... Сад был разорен и ограблен и тем самым как бы бесконечно унижен.

Словно бы для того, чтобы поправить жиденькие свои волосы, тесть мой, дослуживший до подполковника, всю войну прошедший крестьянин, снял старую армейскую фуражку, но все же не удержался, горько и выразительно крикнул, и невольно рука моя тоже потянулась к берету на голове.

Вечером во время застолья, когда в доме сидели все главные специалисты колхоза и молодой председатель, чуточку хвастая, рассказывал о хозяйстве, тесть осторожно спросил:

— Ну, а сад вам дает что-нибудь?

— Дает! — хохотнул председатель. — В основном — одни неприятности. Этим летом яблок было, как грязи, а план у нас всего триста тонн. Отстрелялись за пару деньков, предложили было сдать еще столько же, а нам: «Нет братцы, хорош! И так завод не успевает, тем более что яблоки у вас больно крупные, в давилку не входят. Скажите спасибо, что

эти у вас приняли...» Ну и что делать? Мы и туда, и сюда, как говорится, а кому оно?.. Наше дело солдатское. Сказали, главное направление — рисоводство, ты — руку под козырек и — кру-гом!.. Сперва я шефам в город позвонил, пару разков они приехали, набрали, сколько душенька пожелала, потом шепнули своим людям, чтобы потихоньку яблоки рвали, да тут сразу нашлись мудрецы, комбайны на полосе сбросали и — на ростовский базар, а кто с шоферами договорился да на холодильнике — в Мурманск!.. Мне, конечно, выговорешник. А яблок, сколько уже ни брали — ветки не то что гнутся, а ломаются! — и посмотрел на хозяйку дома, руку протянул. — Может, у тебя в кладовке остались?.. По-кажи, какие были!

Он вздохнул и стал закуривать, ладонью отогнал от себя дымок, но этот его жест был такой, словно он на что-то махнул рукою.

Из-за приоткрытой двери на веранду донеслось, как вылили в таз ведро воды, как шумно сыпанули в нее яблоки, и под торопливыми пальцами хозяйки они заскрипели молодод и упруго.

Тяжелые и тугие, словно исходившие изнутри зеленовато-желтым свечением, в drobных каплях на красных крутых боках, лежали они потом посреди стола на большом эмалированном блюде, и, глядя на них, нельзя было не подумать об удивительной щедрости земли, так благодарно ответившей на мудрый выбор Природы, в клокочущем огнем бескрайнем мироздании предназначившей ей стать колыбелью живого, а может быть, и началом всего разумного...

— Так мы потом с ними что? — посмотрел председатель на погрустневшего моего тестя. — Принимаем решение пустить в сад молочное стадо... Недельно, а то и две коров туда как на выпас гоняли. Они и с веток снизу пообхватили, и, хочешь не хочешь, все деревья маленько пообтрясли — какая за ветку дернет, когда яблочко в рот возьмет, а какая боком потрется...

— Молоко тогда яблоками пахло, — вставила хозяйка. — Такое вкусное! Правда.

— А напоследок загнали мы в сад свиней, — досказывал молодой председатель. — Чтобы они, значит, все, что еще осталось, подчистили...

Сидел я вместе со всеми за изобильным этим, который ломился от деревенских яств, столом, слушал разговор, смотрел и смотрел на горку яблок посредине, но мне, как это случается, казалось, что все происходящее нереально и что

на самом-то деле я не здесь, а в дальнем своем сибирском поселке: который уже час вместе с другими томлюсь в длинной очереди за твердым, как дерево, венгерским «джонатаном».

Вспомнил ли я в тот раз в Бриньковской об этой не покладаящей рук старушке с дорогого и самодовольного армавирского базара?... Скорее всего, нет, тогда во мне еще не проклюнулось это чувство; чтобы такое случилось, я еще должен был и не раз и не два увидеть переломанные плугом, брызнувшие на черный пласт перезрелым семенем запаханные помидоры; вслед за колхозным агрономом из родной моей станицы Отрадной, школьным своим дружкой, должен был пройти через громадное поле замерзающей под ранним снегом свеклы...

Залубеневшими пальцами агроном разгребал мерзлую ботву, тыкал ногтем в верхушку корня: «Представляешь, она еще живая... Ведь председатель, говорил же ему по-человечески: «Дайте нам сперва свеклу выкопать, а кукуруза обождет, никуда не денется». Помнишь, пацанами, бывало, в какие холода кукурузу жать на «ударники» ходили? Она любой мороз перестойт! А он нам: нет, и больше никаких. С меня за нее, говорит, голову будут снимать, если что, а уж если без вашей свеклы останемся — как-нибудь перебьемся!.. Заставил жать первым делом кукурузу, а теперь свекла на глазах домерзает, а я уже ничего не могу, снег. Нет, ты представляешь, она еще живая?!»

Случилось, выкормившую нас в тяжелое время войны кукурузу скоро разжаловали, и королевую стали называть уже свеклу, которая должна была нашу жизнь сделать слаще, и это ради нее потом, ради сахарной свеклы, жертвовали, бывало, картошкой, удивительно вкусной в предгорных наших местах. Недаром еще с давних пор и доныне приезжают в Предгорье хоть с солью, а хоть с арбузами: менять мажару на мажару, бричку на бричку, прицеп на прицеп.

А после на Кубани стал потихоньку силу набирать восточный принц — рис. И чтобы не зависела Россия от капризов заграничных соседей, кубанцы пообещали довести его урожай до миллиона тонн в год.

И право, не удивился, если услышал бы, что на здешних чеках вода бывала куда солоней, чем где-то в иных местах, — столько пота пролили тут мои земляки. Но больно кольнул затем сердце неторопливый, со все понимающею усмешкой рассказ: «Ты, друг, нас знаешь: уж если что пообещали, из кожи вылезем, а дадим... И тут так. Мало, что от

нескольких предыдущих лет добрую заначку на всякий пожарный случай, как говорится, оставили, решили еще для подстраховки согнать на чеки со всех концов технику — какую можно и какую нельзя... Вся тут была! Ну, и собрали его до зернышка. И сдали. Вместе с заначкою и правда миллион вышел — опять наша Кубань вперед вырвалась! Но сколько, если бы ты знал, у нас за спиной всего остального так и осталось необузданным!..»

Остановись!.. Не довольно ли?

Подумай, как потом тебя на Кубани встретят.

Как меж собою переглянутся.

Что тебе скажут...

Или ты и в самом деле забыл, что за характер у всегда богатой и оттого, бывает, заносчивой твоей родины?

И вообще.

Разве ты уже давным-давно не прописан совсем по другому ведомству? По ведомству тяжелой индустрии. По черной металлургии, в частности.

Ну и валяй в свой пропахший газом Новокузнецк! Не можешь сразу же взять билет — отправляйся хотя бы мысленно. И там, среди непробиваемо черных домен, которые понастроили твои корешки, да среди прозрачных, как стеклышко, образов твоей промчавшейся юности ты и успокойшься, и отдохнешь...

А ведомство-то лишь одно на всех нас: человеческая душа.

И если прорастает в ней наконец посеянное когда-то доброю и щедрою рукой, будущему стебельку, наверное, все равно, под чем он ударил в рост: под палым прошлогодним листом или только уложенным, еще горячим асфальтом...

Разве я виноват, что с каждою новой городской зимой я все явственней замечаю в себе как бы обратный ход времени?..

Если пять, всего лишь пять лет назад при виде щеголихи в дубленке, расшитой цветными нитками, я мог подумать, предположим, о красках праздничного Брюсселя, в котором оказался когда-то в дни рождества, то сегодня все чаще ловлю себя на том, что в подобном случае не одним только обоняньем, но словно всею кожей ощушаю нутряное тепло снегами окруженного катуха, в котором на бабки привставшая над ягненком, только что увидавшим свет, еще слабая овечка умиротворенно слизывает с него тонкий слой последнего...

...И самолеты самой новой конструкции все чаще

уносят меня не в завтрашний день, а в прошлое — дальше, дальше... Кому-то, кто устроен иначе, это, может, покажется странным, а то и вовсе смешным, но сам я нисколько не удивлюсь, если однажды — коли даст Бог дожить — пойму, что сам себе я уже как бы дедушка, и как бы прапрадед, и какой-то еще очень и очень дальний мой предок... И все это вместе — я.

И я стоял в овощном магазине на Нижней Масловке около Савеловского вокзала в Москве, между «Молоком» и сберкассой, стоял и смотрел на покатые эти полки, где внаклон лежали и сморщенная, недоношенная землею картошка, и вялая, замученная на складе морковь, и раньше времени усохший чеснок рядом с полураздетым, несмотря на холода, маленьким луком...

Кто устроен иначе, может мне не поверить, но как перед сиротами, покинутыми когда-то, я вдруг горько заплакал от жгучего стыда перед ними.

Кем они стали! Кем они стали!

Плач по вкусной картошке?

Или по чему-то совсем другому?..

И тут я, бабушка, вспомнил!

И хоть стоял на зазеленелых ступеньках в башмаках на толстой резине, вдруг услышал, как ударил в меня тугой сок земли, как по жилам пошел, словно по живому ждущему дереву, как толкнулся в сердце и налил грудь, как плечи распрямил, приподнял подбородок, заставил вихрами тряхнуть непокорно...

Я и яблоньку твою вспомнил, и плетью забитую дочь, и сыновей твоих, которые где-то в Крыму с шашками наголо бешено мчатся друг другу навстречу. И, подумав о земле, вдруг спросил себя: не забыл еще, чем поливали?..

И вспомнил армавирский базар. И предстал многих из нас за его прилавком стоящими. Тот справку о досрочном выполнении, которой грош цена, втридорога продает, а тот — рапорт-скороспелку всучить старается... А и наш брат? Ему бы рассказ на двадцать страниц, а он тебе — трилогию на две тыщи. Другой за подсахаренный сироп как за настоящий мед требует. Третий и вообще стоит налегке, только кукиш держит в кармане — это и весь его товар драгоценный! — а цену-то ломит, а цену!..

А ты меж них стоишь и уже дрожащей рукою яблоки мне протягиваешь за так: лишь бы, что земля дает, не пропало, лишь бы людям на пользу.

А я шел домой, и складывался роман, в котором, как

это бывает в минуту озарения, все так удивительно ладно вставало на свои места.

И этот молодой председатель из Бриньковской, и тракторист, который работал на рисовых чеках, в романе были бы твои правнуки, все бы жили под Армавиром, в нашем родном Предгорье, и они сидели бы утром за ранним завтраком, и председатель, старший по возрасту, мудренько выспрашивал бы про заначки, а младший бы пил молоко и радовался после долгой отлучки: «Не, а кажется, яблоками пахнет, и правда... Сказано — дома!» А ты бы повязывала перед дорогой простую косынку, а мимо этот добрый мальчишка, разглядевший тебя шофер, таскал бы в свою машину скрипучие мешки с тугими яблоками и ставил бы их осторожно один к одному... Но пока соберешься!.. Да и будем ли живы? А пока ты, я твердо уверен, жива. Может, эта яблоня и дана тебе, бабушка, на долгую жизнь. Потому что ты, праведница, просто не сможешь умереть, пока она весною цветет и летом дает плоды. Пока подрастают яблони помоложе...

Низкий тебе поклон, милая бабушка, издалека!

И когда я уже закончил писать это свое воспоминание и дал прочитать его младшему сыну, выросшему не в одном краю, а во многих — маленькое перекасти-поле, так и бежавшее вслед за отцом, за перекасти-полем побольше, так и бежавшее — по всей-то России! — сын спросил, уже в самом начале оторвавшись от строчек: «Что такое — походец?»

Стал ему объяснять: это когда на весах чаша с товаром перетянет другую, которая с гирьками. Понимаешь?.. Предположим, просишь ты килограмм, а тебе от щедрого сердца положили чуть больше — мальчик, бери, жалко, что ли?!

Он, как ни грустно, с детства слышать другое привык.

Когда мы с женой, не имея времени сами, отправляли его в магазин, оба наставляли: в очереди будь посмелей. Да смотри, чтобы продавщица тебя не обвесила!

Потому, когда я рассказал про походец, он с сомнением спросил: «А такое бывает?»

Слово, мальчик, придумал не я. Это старое слово. От предков.

Так бывает. И так быть должно.